



ВСЕ ЗАГАДКИ ЛЮБВИ



# МЕСТЬ

## МАРИНА И ЮРОЧКА

*Как живется вам с другою,  
Проще ведь? — Удар весла!  
Линией береговою  
Скоро ль память отошла  
Обо мне, плавучем острове...*

Я вспоминал эти строки Марины Цветаевой в тот исчезнувший во времени вечер, когда шел к нему.

В те дни в журнале «Новый мир» была напечатана «Повесть о Сонечке», и телефоны в Москве были буквально раскалены. Интеллигентные люди, которые тогда имели привычку читать «Новый мир», звонили друг другу...

Помню, как я читал повесть — пугающее извержение любви, казавшееся столь странным в семидесятых — в пуританское, «торжественно-глухое» время. И все вспоминал, как в чьих-то мемуарах прочел забавное: Марина (тогда еще для всех — Марина, ей шестнадцать) лежит в Коктебеле на раскаленном пляже. Там часто находили сердолики с тайным розово-голубым огнем...

И Марина кокетливо говорит поэту Волошину:

— Я полюблю того, кто принесет мне самый прекрасный камень.

— О нет, все будет иначе, девочка, — печально отвечает Волошин. — Ты сначала его полюбишь, потом он

принесет тебе булыжник, вложит в руку, и ты скажешь:  
«Какой прекрасный камень!»

Это и стало странным эпиграфом к жизни Марины.

Ее любовь пугала. Мужчины боятся чрезмерности любви.

Она заблудилась в нашем опасном и скучном столетии.

В «Повести о Сонечке» есть очаровательная фраза — как хорошо было жить в XVIII веке, когда женщины думали не об идеях — о поцелуях. И восхитительное описание плача женщины, плача — священного обряда: глаза-вино-градины, блестят слезами, они излучают такой жар, что слезы эти не успевают вылиться из глаз. Сила страсти столь пламенна, что слезы иссыхают уже там — в глазах-виноградинах... И, исчерпав все возможности описать этот плач, Марина заключает: она плакала по-моцартовски.

Божественность Плача Женщины... Божественность Женщины... «Повесть о Сонечке» — мечта о Галантном веке:

*Плащ Казановы, плащ Лозэна,  
Антуанетты домино...*

Но все телефонные звонки, которыми обменивались в тот баснословный вечер, были связаны, увы, не с великолепием самой повести.

В повести была заключена сенсация. Я даже сказал бы — скандал. Дело в том, что персонажи, описанные Мариной, существовали в действительности.

Сюжет повести: любовь героини к некоему Юрочке, актеру и режиссеру. Любовь безумная — любовь из стихов Марины.

Героиней повести была Сонечка Голлидэй, маленькая актриса Вахтанговской студии. Она давно умерла, канула в Лету, но осталась навсегда в Маринином повествовании — неземная принцесса, описанная со страстью — почти подозрительной страстью...

Что же касается Юрочки — предмета Сонечкиной любви, — тут сарказм и ярость. И тоже — подозрительные...

Красавец Юрочка. Марина пишет об этом «ангельском подобии», о его росте — «нечеловеческом», о бесконечном торсе, увенчанном божественной античной головой... О фантастическом хороводе женщин вокруг их бога Юрочки... Как все они (вместе с Сонечкой) стремятся проникнуть в его сердце... Тщетно!

— Юрочка у нас никого не любит, — говорит его старая няничка. — Отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки...

(— И себя в зеркале, — зло добавляет Марина.)

— Прохладный он у нас, — ласково говорит няничка. Этот «прохладный Юрочка» в семидесятых годах продолжал жить! Более того, его имя было известно всей Москве и всей стране. Сколько театральных легенд было вокруг этого имени!

Во всех книгах по истории театра вы прочтете, как блистательно он играл графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». А какой он был Калаф в легендарной «Турандот»! Как неправдоподобно хорош!

Но все это прошло. Давным-давно прошло... А тогда, в семидесятых, Юрочка был величественным патриархом, Главным режиссером театра имени Моссовета, лауреатом всех возможных и невозможных премий, Героем Социалистического Труда и прочее, и прочее...

Юрий Александрович Завадский.

В те дни в его театре репетировалась моя пьеса. И вот поздним вечером я шел к нему поговорить об этой пьесе.

На самом деле я шел к нему с понятным садизмом — посмотреть, как чувствует себя старый баловень судьбы, которому внезапно дала пощечину истлевшая женская рука.

Я пришел в тот поздний час, когда все нормальные люди спят, но «люди этого круга» только начинают жить. Он сам открыл мне дверь — очередная старая няничка спала. Как он был хорош в проеме двери — все то же «ангельское

подобие! И хотя он был уже совсем стариком, у него была абсолютно молодая, даже какая-то детская кожа. И величественная, совершенно голая голова римского сенатора...

Он провел меня в комнату. Мы сели, и я сразу увидел на столе «Новый мир». Он оценил мой взгляд, после чего спросил что-то о пьесе. Я начал отвечать, но уже через три минуты понял: ему скучно.

Все это время мы оба не отрывали взгляда от журнала. И вдруг он спросил:

— Вы давно читали «Евгения Онегина»?

Я был горд ответить: знаю «Онегина» наизусть.

— Ax, — воскликнул он, — какая удача! Вы знаете его наизусть — и я тоже! Мне на днях предложили прочесть его на радио... Хотите, поиграем в небольшую игру? Возьмем нечто малоизвестное из «Евгения Онегина»... ну скажем, путешествие Онегина в Одессу. Вы и его знаете наизусть? Великолепно! Тогда давайте читать на два голоса. Я начну, а вы будете продолжать... А можно и наоборот — вы начинайте.

Я начал:

Одессу звучными стихами  
Наши друг Туманский описал,  
Но он пристрастными глазами  
В то время на нее взирал.  
Приехав, он прямым поэтом  
Пошел бродить с своим лорнетом  
Один над морем — и потом  
Очаровательным пером  
Сады одесские прославил...

— Стоп! — сказал он и продолжил:

...Все хорошо, но дело в том,  
Что степь нагая там кругом;  
Кой-где недавний труд заставил  
Младые ветви в знойный день  
Давать насильственную тень...

• МЕСТЬ •

Потом пришла его очередь начинать. И он начал:

*...А ложа, где, красой блестая,  
Негоцианка молодая,  
Самолюбива и томна,  
Толпой рабов окружена?  
Она и внемлет и не внемлет  
И каватине, и мольbam,  
И шутке с лестью пополам...*

Он остановился, а я продолжал:

*...А муж — в углу за нею дремлет,  
Впросонках форы закричит,  
Зевнет и — снова захрапит...*

И вот в этом месте — я точно помню — он усмехнулся и спросил:

— Вы любите старые письма?  
Я замер.

Он открыл ящик стола и выбросил на стол несколько писем. Потом не глядя взял одно и стал читать.

С первых строчек я понял все. Только одна женщина в России была способна на словоизвержение любви. Точнее — словоизвержение ревности.

Это было ее письмо — Марины!

Он читал, а я слышал (в каждой строчке слышал!) ее стихи, ее «Попытку ревности». Оно обращено к другому человеку, но там то же отчаяние... Те же проклятия... Те же слова:

*Как живется вам с чужою,  
Здешино? Ребром — люба?  
Стыд Зевесовой вожжою  
Не охлестывает лба?..*

*Как живется вам с товаром  
Рыночным? Оброк — крутой?*

*После мраморов Каррары  
Как живется вам с трухой Гипсовой?..*

*...Ну, за голову: счастливы?  
Нет? В провале без глубин —  
Как живется, милый? Тяжче ли?  
Так же ли, как мне с другим?*

Как он читал это письмо! Это была сцена: Дон Жуан читает письмо Донны Анны.

И какая у него была печаль... но не печаль от прошедшего, не печаль воспоминаний, нет, совсем иная — печаль невозможности. Он опять видел ее, видел ее волосы 1919 года, видел ее рот, видел ее всю и знал — этого никогда не будет!.. Та юная плоть, изнемогавшая от страсти к нему, та Великая Любовь — все исчезло!

Что осталось? Тишина? «Грусть без объяснения и предела»?

Он ошибся. Остался журнальчик на столе. Беспощадная рука Командора, смертельно схватившая Дон Жуана...

Опасен час после полуночи, потому что мысли без помощи слов бродят из головы в голову. И мне показалось, что эта моя смешная мысль заставила его вздрогнуть.

А потом мы снова читали стихи Пушкина, и он вдруг сказал:

— Я очень хотел бы поставить «Горе от ума», но Чатцкий слишком уж глуп. Только глупый мужчина может обличать перед любимой женщиной удачливого соперника. Это лучший способ окончательно бросить ее в его объятия. Кстати, это отлично понимали все истинные Дон Жуаны. Когда Дон Жуан решает расстаться с женщиной — знаете, что он делает? Он окружает ее любовью, топит ее в любви, надоедает ей любовью. Он делает это до тех пор, пока не утомит ее окончательно, пока глаза ее не начнут искать другого. И тут он начинает этого другого обличать. Это самый верный способ направить женщину к нему, прочь от себя... Женская вечная тяга к запретному, тяга поступать

• Месть •

наперекор... Смешная ловушка... — Он остановился и добивал: — Но когда она уже с другим — извольте доиграть свою роль до конца! Возмущайтесь, ревнуйте, укоряйте! Но помните: ночными звонками, скандалами вы не сможете ее обидеть — только благородным равнодушием! Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда!

Он бросил письма в ящик стола и закрыл его.

За равнодушие мстят!

Он засмеялся, встал, показывая, что встреча закончена, и проводил меня до дверей. Когда я вышел на лестничную клетку, он вдруг спросил меня:

— Вам не приходило в голову — как Дон Жуан протягивает руку Командору?

И он показал.

Он был великим актером. Я навсегда запомнил бесконечную фигуру в провале двери, свет тусклой лампочки из коридора... Как он тянул в пустоту руку и как менялось его лицо! Сначала на нем было любопытство, потом вызов, а потом страх, слепящий ужас — ужас смерти... Опаленное лицо с мертвыми глазами... И он захлопнул дверь.

Я шел по улице. Горели фонари, падал тихий новогодний снег, и я банально шептал строки:

*Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?*

# КОНЕЦ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Зина Пряхина из Кокчетава,  
словно Муромец, в ГИТИС войдя,  
так Некрасова басом читала,  
что слетел Станиславский с гвоздя...

Зину словом никто не обидел,  
но при атомном взрыве строки:  
«Назови мне такую обитель...» —  
ухватился декан за виски.

И пошла она, солнцем палима,  
поревела в пельменной в углу,  
но от жажды подмостков и грима  
ухватилась в Москве за метлу.

Стала дворником Пряхина Зина,  
лед арбатский долбает сплеча,  
то Радзинского, то Расина  
с обреченной надеждой шепча...

Зина Пряхина из Кокчетава,  
помниши — в ГИТИСе окна тряслись?  
Ты Некрасова не дочитала.  
Не стесняйся. Свой голос возвысь.

Ты прорвешься на сцену с Арбата  
и не с черного хода, а так...  
Разве с черного хода когда-то  
всем народом вошли мы в рейхстаг?!

Евгений Евтушенко  
*Размышления у черного хода*

Она вошла в ванную.  
Съела таблетки перед зеркалом.  
Запила водой из-под крана.  
Потом вернулась в комнату,  
легла на ковер у кровати  
и стала ждать.  
Это и был — конец стихотворения, Женя.  
Три дня и три ночи  
ее пытались спасти.  
Но она правильно все рассчитала —  
она работала медсестрой.  
Три пачки димедрола плюс четыре пипольфена,  
и девять часов до того,  
как пришла с работы подруга...  
А потом наступила ночь тринадцатого января,  
и люди, которых она в записке  
просила «никого не винить в своей смерти»,  
сидели за столиками в ресторанах  
и съто и пьяно провожали Старый год,  
чтобы потом, во тьме постелей,  
прижавшись телами к другим телам,  
благополучно доплыть до конца новогодней ночи...  
А в это время ее обнаженное тело  
лежало в беспощадном свете мертвецкой  
и безумный голос ее подруги  
орал в замерзшую трубку:  
«Как она?»  
И мужской голос — сумрачно и сухо:  
«Такие данные не сообщаем по телефону».  
Действительно!  
Зачем тревожить сограждан «такими данными»?  
Засекретим смерть,  
и пусть у нас всегда торжествует жизнь,  
как в конце твоего стихотворения, Женя...  
  
Вчера я встретил ее  
в первый раз — после ее смерти.

На дачной эстраде танцевали девочки.  
Я узнал ее сразу —  
она танцевала последней.  
Кровавые пятна носков для аэробики,  
ураган волос а-ля Пугачева...  
Шаровая молния в конфетной обертке!  
Балдели дачные мальчики  
с теннисными ракетками, на складных велосипедах.  
И голос матери, нарочито громкий:  
«Будет артисткой!»  
Все это происходило под Москвой,  
а совсем не в Кокчетаве,  
где еще верят, что «в артистки»  
надо ехать в Москву  
и завоевать талантом сияющую столицу,  
как в конце твоего стихотворения, Женя.  
Она поехала...  
Вчера я встретил ее на улице.  
Она только что приехала в Москву  
и шла в ГИТИС,  
или в «Щуку», или в «Щепку», или во МХАТ.  
И это было нашим вторым свиданием  
после ее смерти...  
...Ковер, на котором она лежала...  
Она вошла во двор  
и прочла объявление:  
«Абитуриентов прослушивают в тире».  
Маленькая головка на теле Венеры,  
точеные черты Натали Гончаровой  
и волосы, перехваченные черной ленточкой...  
Пушкинская красавица в хипповой диадеме!  
О, как она орала в тире:  
«Я — Мэрлин!.. Я — героиня  
самоубийства и героина!»  
Молодые режиссеры широко улыбались  
и слушали стихи Вознесенского  
про самоубийство Мэрлин Монро.

(О, как она им нравилась!)  
И «сам» широко улыбался —  
эта красавица, полная сил и здоровья,  
что она знала про самоубийство?  
Про самоубийство и героин?  
(О, как она ему нравилась!)  
«На обороте у мертвой Мэрлин...»  
Она победно вышла из тира.  
И жались к стенке,  
стараясь не глядеть на нее,  
жалкие соперницы.  
«Звезда абитуриентуры» —  
так ее назовут  
после трех лет ее поражений,  
когда она узнает,  
каково вглядываться  
в тускло напечатанные списки принятых,  
а потом кружить вокруг канцелярии  
со сводящей с ума надеждой —  
а вдруг пропустили?  
А вдруг пропустили ее фамилию?  
Такую смешную фамилию...  
И режиссер, который набирал этот курс,  
которому она так нравилась тогда в тире  
во время отстрела юных дарований,  
не объяснит ей,  
что такое звонки по телефону,  
сводящие с ума звонки по телефону —  
звонки знакомых и родственников,  
звонки сподвижников и сподвижниц по театру,  
звонки из вышестоящих организаций,  
звонки из нижестоящих организаций,  
звонки с просьбой об элементарной человечности,  
звонки с угрозами и истериками,  
звонки с проклятьями и воплями...  
И он положит ее смешную фамилию  
на алтарь этих звонков,